

# МИТЯ И КОММУНИЗМ

## 1

**И**з местности, где вырос отец и считалось неприличным употреблять в разговоре «что» вместо благозвучного «шо», Митя с матерью ехал в ее родную деревню, где не признавали ни того, ни другого, а говорили «ча-во» и «що». Нужно было в совершенстве владеть обоими этими диалектами, помимо общепринятого русского для школы, чтобы не прослыть чужаком. Попробуй ошибись — и *пацаны* в Павловске, и *ребятишки* в Козловке поднимут на смех.

До Воронежа добрались на качавшемся в воздушных ямах маленьком «кукурузнике» с двухъярусными крыльями. Зашли в гости к Митиному дяде, переночевали у тети, а на следующий день катились в саратовском поезде, подцепленном к черному пытящему паровозу с большой выпуклой красной звездой на передке.

Через четыре часа пути на станции Народная свободное боковое место занял черноволосый мужчина средних лет. Из его потертой сумки прыгнул на столик совершенно черный котенок, потянулся, осмотрелся круглыми глазками, затем лег около окна, свернулся клубочком и зажмурился. Шерсть на его выпуклом боку равномерно зашевелилась в такт дыханию.

Спустя четверть часа хозяин котенка достал из сумки газетный сверток, в котором оказались вареные яйца, сало, хлеб, огурец и зеленые яблоки. Два яблочка он протянул Мите, внимательно рассматривавшему нового пассажира.

— Спасибо, не надо, — сказал Митя, проглотив слюну, и добавил, как учили, — что я нищий, что ли?

— Возьми, — растерянно улыбнувшись, разрешила мать.

— Правильно, — подтвердил мужик, дохнув табачным перегаром. — Дают — бери, а бьют — беги.

Митя принял угощение и осторожно вгрызся в душистое, брызжущее соком неспелое яблоко, ощутив, как недостает двух выпавших передних молочных зубов.

— Как тебя звать, щербатый? — спросил общительный попутчик.

— Митя.

— Молодец. Небось в деревню едешь на каникулы?

— Да, — подтвердил Митя. — К бабушке.

— Как деревня называется?

— Козловка.

— Слышал такую... А папку что же, дома оставили?

— У меня нет отца, — покраснев, признался Митя и добавил: — Он нас бросил и уехал в Сибирь.

Митя привык так отвечать. Отец уже переехал из Сибири в Молдавию, месяц назад приезжал в отпуск, заходил в гости с подарками и даже брал его с собой рыбачить на Дон. Была надежда, что он останется жить с ними, но он не остался, опять чего-то с матерью не поделил...

— Вон оно что... Ясно... — сказал мужик, затем покопался в сумке, вынул граненый стакан и бутылку, заткнутую газетной пробкой.

— Что это у вас — самогон? — поинтересовался Митя.

— Самогон. Откуда ты знаешь?.. Бабка небось гонит? А?

— Не знаю, — растерянно пролепетал Митя, почувствовав, что краснеет. — А вы не из милиции?.. Вообще-то я сплю, когда она гонит.

Все в купе рассмеялись. Митя понял свою оплошность и испугался еще больше.

— Ну, молодец! — сказал мужик. — Придется адресок твоей бабки записать.

Он степенно осушил почти полный стакан, занюхал краюхой хлеба, долго закусывал, похрустывая огурцом, очистил яйцо, сваренное вкрутую, управился с ломтиками сала и яблоками. Потом свернул в газету яичную скорлупу с огрызками и выбросил в открытое окно. Так и не узнав адрес и фамилию Митиной бабушки, пристроил голову на согнутую руку и вскоре заснул. Его антрацитовые коротко стриженные волосы сливались с блестящей черной шерстью котенка. Оба проспали Хворостянку, Добринку и Жердевку. При подъезде к Есипово мужчина поднял помятое лицо, сгреб еще сонного котенка в сумку, сказал: «Ну, до свиданья, пионер» и направился к выходу.

Теперь можно облегченно вздохнуть: кажется, опасность миновала. В вагонное окно было видно, как мужик идет, чуть покачиваясь, по перрону, а котенок забавно вытягивает из сумки голову.

Через полчаса на станции Терновка вышли и Митя с матерью. В кабине попутной полуторки проскочили высокий сосновый бор, деревушку Русаново с красивой деревянной церковью, в которой, по рассказу бабушки, Митю крестили в престольный праздник, и батюшка обнес его триж-

ды вокруг алтаря. Затем потянулись сплошные, простором захватывающие дух зеленые поля, и вот, наконец, показалась Козловка. Еле умещавшаяся под небесным сводом село живописно, словно на блюде, раскинулось в котловине, пересеченной тихой, затейливо петляющей речкой Елань. Много позже из книг Митя узнает, что всего несколько веков назад здесь простиралась северо-западная окраина Золотой Орды, а в еще более древние времена кочевали скифы...

От грейдера на самой последней улице села пешком, с тяжелой сумкой, набитой гостинцами, под любопытными взглядами с крылец за пять минут дошли до знакомой, крытой соломой избы у проулка. Согнутую бабушкину фигуру увидели на дворе. Сердце у Мити радостно забилося.

— Ах-ах-ах! Кто приехал! — запричитала старушка, заметив их у порога дома, и устремилась навстречу.

У нее даже спина немного разогнулась, ликующе зажглись карие глаза. Обняла и расцеловала внука, потом дочь. Слезы радости покатались по ее лицу. Она их вытирала концом платка, повязанного на голове.

— Не зря я сон анадьсь видала. И кошка с утра долго умывалась на Воронеж — к гостям.

Зашли в избу. Бабушка, не переставая спрашивать и рассказывать, достала из печки закопченный чугунок со светлыми щами, налила в две эмалированные миски, забелила снятыми из горшка сливками. Тут же принялась чистить картошку.

— Ба, а ты нужду мне сваришь? — спросил Митя.

— Из чего же я, унучек, сварю? Оставайся здесь в школу ходить, осенью в колхозе свеклу начнут убирать, я тебе хоть каждый день буду варить.

— Вот не забудет никак он эту нужду! — засмеялась мать. — Ты мне расскажи рецепт, а я ему потом в Павловске сварю.

— Ты только обещаешь, — сказал Митя.

Мать стала вынимать из сумки гостинцы: кофточку, платок, булки, конфеты, сушки и несколько пачек дрожжей — для себя и на продажу, чтобы «дорогу отбить». Митя тем временем стал рассматривать вещи в комнате, которые не видел целый год. Ничего не изменилось. Целый угол занимает русская печь. Из-под печки торчат отполированные бабушкиными руками до блеска деревянные ручки рогачей, чапли и кочерги. Загнетка и лежанка закрываются занавесками из синего ситца в мелкий цветочек. У дальней стены стоит большая железная кровать с никелированными грядушками. Над ней висит тканый гобеленовый коврик, на котором в светло-коричневых тонах изображена поросшая кустарником каменистая долина и пара ревущих оленей, задравших кверху грустные морды...

Приходили бабушкины соседи и родственники, разговаривали, смеялись, уходя, спрашивали вполголоса:

— Кума Полька, дрожжиц нету?

— Есть. Тебе сколько?

— Одну пачку.

На бумажной, с синим текстом килограммовой упаковке дрожжей стояла цена пятьдесят копеек. Отдавали за нее смятый тройк и, завернув в газету или тряпицу от посторонних глаз, несли домой...

Стало темнеть. Зажгли керосиновую лампу. Вернулась корова из стада. Бабушка подоила ее, принесла в горшке теплого, процеженного через марлю пенного молока.

— Пейте, в городе такого нет. Молочко — это основное.

Закрыли двери на скрипучие железные засовы. Матери завтра вставать чуть свет на первый автобус. Митя лег с ней на кровать у стенки, в тусклом свете лампы разглядывал вблизи олений на коврик и каждый куст и камень в отдельности. Бабушка пригасила огонь и стала впопыхах читать молитвы, часто вздыхая, опускаясь на колени и касаясь пола лбом. Потом задула лампу и, кряхтя, полезла на печь.

— Я тоже хочу на печи, — сказал Митя.

— Ладно, карабкайся сюда, — разрешила бабушка.

Митя проснулся от шипения растекающегося по горячей сковородке жидкого теста. Бабушка печет блинцы. Выглянул из-за занавески вниз — на белой утирке, покрывающей лавку, лежит их уже целая золотистая стопка. Бабушка чаплей отправляет сковородку в печь.

— А мамка уже уехала, — сказала бабушка, увидев внука. — Вставай позавтракай, пока блинцы теплые. Я сейчас молока с погребца принесу — сладкое, утрешник.

Митя выбрался через валенки, завернутые в тряпицу, тыквенные и подсолнечные семечки в мешочках и нагретые, с ароматом пыли, старые пальто и фуфайки для устройства постели. На грубке, в узком пространстве между дымоходом и потолком заметил пару деревянных щеток с множеством мелких проволочных крючочков для расчесывания шерсти и большие черные железные овечьи ножницы, перевязанные посередине шнурком. Не мог избавиться от искушения, смахнув паутину, поскрести щетками друг о друга и посмотреть, как при нажатии наезжают друг на друга острые лезвия ножниц.

Спустился по двум доскам, закрепленным одна над другой, ухватившись за деревянный барьерчик на самом краю лежанки, имеющий приятную для рук полукруглую, с продольными канавками форму. Комната залита солнечным светом. На столе в углу уже стоит глиняный горшок с молоком, кружка, блинцы и в стеклянной банке сахар с алюминиевой ложкой.

— Пойди умойся, неумойкой грех садиться есть, — на всякий случай напоминает бабушка.

— А что будет, если не умоюсь?

— Боженька хворостинкой накажет, — бабушка кивает на иконы в белых ризах, висящие в углу над столом — на одной Спаситель со строгим аскетическим ликом, на другой — Божья Мать, молодая, красивая, круглолицая, с распущенными вьющимися волосами, в руке несколько веток, похожих на розы. Мите смешны эти предрассудки, но он ничего не имеет против, а, бывает, и сам не прочь перекреститься, поддавшись на бабушкины уговоры.

В сенцах единственное окошко, с проржавевшей железной решеткой и отчаянно бьющейся о стекло мухой, дает мало света. Здесь всегда темно и прохладно. Вдоль стен наставлена всякая всячина: мешки с зерном и мукой, множество ящичков и узлов. Из сенцев одна дверь выходит во двор, другая — на улицу. Обе закрываются на деревянные вертушки с ручками наружу, а на ночь запираются на железные засовы. Двери сделаны из разных досок и, видимо, разными людьми, поэтому они даже скрипят по-разному. Уличная сработана аккуратно, окрашена снаружи в красный цвет и скрипит мелодичнее и тише. А дворовая — с большими щелями, некрашенная и отворяется с громким веселым скрипом... На краю широкой и длинной скамьи возле окна стоит ведро с колодезной водой и покры-

тая изнутри голубоватой, а снаружи бежевой эмалью литровая кружка. Пить из нее особенно вкусно. Она такая огромная, что в колыхающейся влаге или на влажном донышке всякий раз видишь свое отражение и кажется, что слышишь эхо от собственного дыхания.

Митя черпает воду из ведра, открывает скрипучую щелястую дверь и выходит во двор. Привольно, до самого горизонта раскинулось село. Вдали, на том боку, в голубоватой утренней дымке стоит по соседству с тремя деревьями ветряная мельница. Почему этот давным-давно знакомый пейзаж притягивает взгляд, словно магнит?.. Умывается Митя, набирая воду в рот и поливая себе на руки, всякий раз ставя кружку на камень у порога.

Пока он завтракает, посыпая тонкие ноздреватые блинцы сахаром и запивая молоком, бабушка рассказывает свой сон.

— Вышла на плант, а солнце катится с востока. Я и говорю: «Да оно, никак, ко мне прикатилось! Надо скорей идти домой». Домой пришла — а оно на дворе. Народ спрашивает: «Что же это солнышко опоздало?» — «А оно у меня было», — отвечаю. Но пагубу ничего мне не сделало... Ох, солнышко, солнышко! Вот и солнышко... Ох, да господи, господи!..

— К чему бы это тебе приснилось? — интересуется Митя, зная бабушкину способность угадывать по снам предстоящие события, но на этот раз она в недоумении. В гости вроде приехать никто из детей, живущих в городе, не обещался. Может, это какое-нибудь знамение, но об этом сразу не узнаешь.

В двух рамках под стеклом фотографии. Митя спрашивает, почему материных портретов там больше всего.

— Мать твоя в молодости любила харчить деньги. Когда работала в Калининграде, хватить-мать, бывало, карточку в письме пришлет.

На одной фотографии размером чуть ли не в ученическую тетрадь улыбающаяся, сияющая красотой и молодостью девушка в матросской форме, взятой напрокат. На бескозырке, чудом державшейся на пышных, распущенных волосах, написано: «Балтийский флот».

— С твоим отцом они прожили мало, разошлись. Тебе годик был, когда она привезла ко мне.

Знакомая история. После развода мать с Митей на руках отправилась из Калининграда на родину отца — в Павловск. От Лисок до Павловска плыли на пароходе, гудка которого, по ее рассказу, он до смерти перепугался. Что ее туда влекло? Надежда сохранить семью? Не получилось. Отец уехал в Сибирь и не собирался возвращаться. Мать устроилась на пекарню. Ее приютила переживавшая развод родственница отца, которая была на ее стороне. Митю пришлось отвезти к бабке. До четырех лет он прожил в Козловке, а потом мать забрала его к себе. Она сделала стремительную карьеру, пройдя все ступеньки от разнорабочей до заведующей производством, ей недалеко от пекарни, в центре Павловска, отгородили в конюшне небольшую комнатку и сделали отдельный вход с крошечной верандой. В ту пору руководитель страны Хрущев выдвинул лозунг: смелее выдвигать на начальственные должности молодых. В их новом жилище едва помещались печка-буржуйка, кровать и кухонный стол со стулом. На полу негде было развернуться, и Митя предпочитал играть с машинкой, забравшись на стол. По ночам лошадь во сне стучала копытом в дощатую перегородку. К этому стуку он скоро привык и перестал бояться, когда мать будили по ночам разбираться с бракованной выпечкой, и он оставался один. Жилплощадь у

беспокойной соседки, развозившей днем по городу хлеб на телеге с деревянной будкой, была вдвое больше.

Митя ходил в детский сад, к которому так и не смог привыкнуть после вольной деревенской жизни. Повариха Варвара Петровна, благосклонно относившаяся к нему, неизменно наливала в его стакан компот с грушей, а к картофельному пюре клала, всем на зависть, селедочный хвост. Митя слезно уговаривал ее сварить «нужду», которую готовила ему бабушка. Петровна спросила рецепт у его матери, но та вспомнила только, что нужду вроде бы варят из жмыха и сока сахарной свеклы в русской печке, а как точно, понятия не имела. Это лакомство ему не могли заменить печенье, зефир, пастила и даже дорогие шоколадные конфеты «Мишка на Севере» с вафельками внутри, которые каждую субботу раздавали перед уходом на выходной всем воспитанникам детского сада...

Мите передалось общее ликование взрослых, когда полетел в космос Юрий Гагарин и еще, когда приняли программу построения коммунистического общества. Они с матерью в это время еще делили кров с лошастью.

— Мам, а что такое коммунизм? — спросил он.

— Это когда все люди станут сознательными и добрыми, не станет преступников, и денег не будет.

— А как же мы будем покупать в магазине без денег?

— Все, Митенька, будет бесплатно. Придешь в магазин, скажешь продавцу, что тебе нужно, и сразу получишь.

— Все, что захочешь?

— Конечно.

Было немножко грустно рисовать в воображении, как в один прекрасный день желтые рубли, зеленые тройки и даже красные десятки с овальным портретом дедушки Ленина в профиль потеряют свою волшебную силу, и ветер будет носить их по улицам, словно фантики от конфет. У него не хватало всего нескольких копеек на разборную пластмассовую гоночную машинку с шофером, уместившуюся на ладони. Стоило повернуть крошечную фигурку водителя, и машина разделялась на несколько деталей и две пары колесиков, соединенных стальной осью. Даже если в игрушечном магазине скоро эти машинки будут раздавать за так, все равно жаль расставаться с привычным денежным прошлым, когда приходится копить по копейчке...

— Здорово! А долго коммунизма ждать?

— Да нет, уже немного осталось — двадцать лет каких-нибудь.

— Ого!

В том году они получили квартиру на втором этаже нового двухэтажного дома из белого кирпича на окраине города рядом с только что построенным хлебозаводом. В детский сад мать Митю теперь возила на автобусе от остановки «Стадион» или отправляла с развозившим булки «пирожком» марки «Москвич», из которого он однажды зимой, заснув, вывалился в своей черной шубке, перепоясанной кожаным ремешком, в открывшуюся дверь и покатился вниз по наезженному скользкому снегу. Перепуганный водитель выскочил за Митей из автомобиля, на руках принес на переднее сиденье и разбудил.

— Ты не ушибся?

Митя, открыв глаза, удивленно посмотрел на него:

— А что случилось?..

В новой квартире подключили радио. Митя с одинаковым интересом

слушал детские и взрослые передачи. Особенно любил новости и про политику. Как-то вечером он спросил:

— Ма, а почему про Хрущева каждый день говорят по радио: «Никита Сергеевич — неутомимый борец за мир»?

— Потому что он борется за мир во всем мире, чтобы не было войны. Ты же слышал его выступление?

— А почему он один борется? Может, я тоже буду ему помогать?

— Ты, Митенька, молодец, что хочешь помочь, но только смотри еще где-нибудь такое не скажи, — сказала мать, засмеявшись. — Подумают, что я тебя научила...

Потом началась школа. Мите не хватало до семи лет двух месяцев, и матери пришлось соврать, что потеряла свидетельство о рождении.

Каждый день он ходил учиться в соседским мальчиком Сергеем через питомник по тропинке мимо плантации смородины. Шмели, пчелы и бабочки попадались на глаза. Школа располагалась в сосновом лесу. На большой перемене после третьего урока привозили в корзине, застеленной клеенкой, вкусные жареные пирожки по пять копеек.

Подкрепившись пирожком с обжигающим повидлом, Митя с приятелями отправлялся на школьный двор, где играли в догона между сосен и бросались шишками. В игру принимали и девчонок. И вот перед самыми каникулами он погнался за Ирой, новенькой из параллельного класса. Она была со смуглым необычным лицом, на нее наложил отпечаток южный город, из которого она приехала. Сергей поведаль, что она училась на одни пятерки. Бегала она быстро, внезапно остановившись, изменяла направление и ускользала от его ладони. А тут начали раздаваться со всех сторон голоса: «За одним не гонка, человек — не пятитонка»...

О том, чтобы просто поговорить с девчонкой или пройти с ней после школы до ее дома — Ира жила на его улице, — не могло быть и речи. Насмешек от пацанов не оберешься. Оставалось надеяться на какой-нибудь случай.

В тот вечер несколько девочек и мальчиков со всей округи гонялись с сачками за майскими жуками. Жуки, степенно жужжа, кружили над лесопитомником. Ветра совершенно не было, закат золотил ровные ряды саженцев с клейкими листьями, опускалась вечерняя свежесть, и воздух, еще не перемешанный, весь из теплых и прохладных струй, дрожал под крылышками майских жуков. И Митя в этих чередующихся воздушных слоях настигал приглянувшегося жука. Что за удовольствие было извлечь пленника из марли и, пока он щекочет ладонь в тщетных попытках освободиться, рассмотреть его жесткие, как чешуйки чеснока, крылья и беспокойно шевелящиеся лапки.

Ира — в синем спортивном трико — появилась позже в сгустившихся сумерках, когда ребята уже начали расходиться по домам. Она попросила сачок у Мити и быстро изловила жука.

Жук попытался улизнуть с ее ладони, полураскрыв твердые крылышки, но она осторожно удержала его пальчиками и перевернула, чтобы рассмотреть черное брюшко.

— Митя, пора домой, — услышал он голос матери из запахнутого кухонного окна на втором этаже.

— Еще рано, ма, — отозвался он. — Можно я еще немного погуляю?

— Сначала поужинай, потом погуляешь...

А после ужина он оказался рядом с Ирой в компании нескольких знакомых мальчиков и девочек на бревнах возле ее дома. Как обычно,

рассказывали анекдоты вперемешку со страшными историями. Майские жуки допоздна пролетали вблизи, словно крошечные жужжащие вентиляторы, и кружили над тополями. До чего приятно было время от времени поглядывать в теплую черноту неба, усыпанного крупными звездами, к которым уносились звонкие голоса, веселый смех, внезапный визг, и чувствовать, как хорошо ему от этого неба, звезд и от того, что она рядом...

## 2

Вечером в деревне особенно хорошо. Большое круглое солнце садится на западе, вливается в глаза алым светом, и ветер не шелохнет ни одного листика на старой лозине. Настроение становится сладостное и немного грустное. Почему-то вспоминается озорной взгляд и заразительный смех смуглолицей Иры.

Прямо перед окнами растут два молоденьких клена. На этой стороне в тени дома разросся мурожик. На нем можно сколько угодно кувыркаться, просто полежать, прижавшись щекой к пахучей траве, следить за ползущей по изогнутому стеблю у самого лица божьей коровкой или пробирающимся по своим делам сквозь непроходимые заросли одиноким муравьем. Чуть дальше, там, куда не достает тень от дома, начинается мелкая ершистая, духовитая полынь, на которой роса или дождевые капли переливаются сверкающим серебром.

На этой широкой улице перед домами огорожены палисадники с грядками и фруктовыми деревьями. Только у одиноких старух такие дикие участки нетронутой степи. Некому обрабатывать, да и незачем, дай бог с огородом управиться. На самом краю участка пасется, позванивая цепью, телок. Иногда ему удается выдернуть железный кол из земли и вырваться на волю. Тогда он носится по улице, дурашливо подбрасывая зад от радости, пока его не заметят и не изловят.

Коров еще не пригнали, улица пуста, только несколько маленьких ребятишек играют в канаве, да телок, привязанный перед домом на лужайке, часто мычит, кажется, из баловства, и ему отвечают его собратья со всей улицы. Изредка прокричит петух, да коротко пролает в каком-нибудь дворе собака. Мите дорог в этой деревне каждый кустик и бугорок, и прозрачный воздух, пахнувший мурожиком, лебедой, прошлогодней соломой, зелеными яблоками и землей.

Из дома напротив показался Мишка, Митин ровесник, приходившийся ему троюродным братом. Лет в пять они вдвоем искурили невзятяжку, спрятавшись в высоком овсе, украденную у взрослых пачку папирос «Север». Мишка пересек широкую улицу и сел рядом на пороге избы.

— Пойдем на речку, — предложил он.

— Пойдем.

— Только сначала к деду в сад надо зайти. Яблок нарвем.

— Он не велит рвать.

— А мы без спросу...

Чтобы прохожие не топтали траву, со стороны проулка давным-давно вырыта большая канава, заросшая повиликой, лебедой и беленой, а от угла дома тянется к канаве ограда из двух горбылей, прибитых к кривым столбам. В щели ближнего к избе толстого растрескавшегося столба нашел постоянное пристанище шмель. Двое одинакового роста мальчиков, слегка пригнувшись под горбылем, напрямки пересекли проулок, оставив в мягкой теплой пыли следы босых ног.

Дед гулял в старом саду, хозяйским оком осматривая деревья.

— А, внучата! — завидев их, произнес он.

Затем подставил поцеловать свою колкую, поросшую седой щетиной щеку и начал рассуждать о том, сколько в нынешнем году уродилось яблок, груш и вишни.

— А этот бергамот посадил еще мой дед, — сказал он с гордостью, показывая на огромное дерево с желтеющими среди упругой зеленой листвы грушами, от которых исходил манящий душистый запах. — Ему лет восемьдесят, старей меня будет.

Дед рассказывал историю своего сада, а Митя с Мишей сочно хрустели сладковато-кислой падалицей, сбитой вчерашним ветром, слегка вытерев ее в ладонях.

Погутарив еще полчаса, дед ушел домой, а внуки, оставшись одни, натрапали яблок и бергамота и сложили все за пазуху, чтобы подкрепить себя по пути на речку. Солнце уже почти закатилось.

Пройдя по дороге мимо капустных грядок в низине, по узкой тропинке среди зарослей терна, ив и крапивы, они вышли к самому широкому месту Елани. На пустынной полоске золотистого песка на берегу лежали два аккуратно сложенных платья. В воде плавали, фыркающая и плескающаяся, незнакомые девчонки лет пятнадцати. Мальчики разделись и зашли в реку. Митя заходил не спеша, скрестив на груди руки, а Мишка бултыхнулся сразу и, вынырнув, начал брызгаться. Ответные фонтанчики полетели ему в лицо. Оба смеялись, ныряли и догоняли друг друга в медлительной, прогретой за день коричневато-желтой воде...

Когда Митя вернулся домой, увидел, что трава вокруг дома скошена. В сенцах за столом сидел дядя Ваня, дедов сын. На руке у него выколот якорь с несколькими звеньями цепи — память о службе на флоте. На керосинке жарилась в сковородке, накрытой миской, картошка.

— Вот, тетя Поль, какой у тебя помощник растет, скоро сам будет траву косить.

— А що же, время быстро летит, — отвечала бабушка. — Митя, пойдди сорви огурчики на грядке дяде Ване закусить.

— И лучку зеленого, — добавил дядя Ваня.

Митя принес огурцы, еще хранившие тепло земли, и пучок лука. Потом залез в избе возле печки в темный, таинственный, пахнущий мышиным пометом подпол и достал пятилитровую белую бутылку, которая до половины была наполнена мутноватой жидкостью и заткнута пробкой, свернутой из газеты. Бабушка отлила самогон через жестяную лейку в четвертинку, вернулась в сенцы и поставила перед гостем на стол вместе с картошкой.

— Садись с дядей Ваней поужинай, — сказала бабушка.

Дядя Ваня налил себе полстакана, сказал: «Ваше здоровье!» и поднес к губам. Влага за граненым стеклом колебалась и постепенно исчезала. Дяди Ванино лицо морщилось, и из глаз выступили слезы. Он занюхал самогон ломтем черного, душистого хлеба, испеченного бабушкой накануне в печи, потом окунул в банку с солью стрелку лука и начал трапезу. Митя тоже принялся за картошку.

— А ты папку своего давно видел? — спросил дядя Ваня.

— Месяц назад приезжал в отпуск.

— Не остался?

— Нет.

— Я твоего папку знаю. Он приезжал сюда, когда ты маленький был. Помнишь, тетя Польша, как он водил Митьку на село?

— А как же, — отозвалась бабушка. — Я все боялась, как бы он его не забрал тайком с собой.

— Не, он мужик умственный. Знаешь, Мить, что я скажу... ты на папку не обижайся. Мы с ним долго говорили... вот как я сейчас с тобой. Мало ли что у него с мамкой не получилось... Хочешь, я тебе самогонки налью?

— Маленек еще добре, — возразила бабушка...

### 3

Он не по собственной воле навсегда покинул трепетно любимый маленький город на Дону, и сны задолго до переезда наполнялись предчувствием манящей новизны. Ему снилось из ночи в ночь, будто к городу протянули настоящую железную дорогу — предмет его мальчишеских мечтаний, он ощущал необъяснимую тоску из-за удаленности от стальных магистралей, и вот теперь всякий раз, прежде чем проснуться в школу, успевал увидеть паровоз и услышать его призывный посвист. Железка в иллюзорных видениях проходила почему-то по песчаному лугу, который каждую весну заливало половодьем.

Уже две недели как шли занятия в школе. Митя ежедневно бывал в одной компании с Ирой, и ее присутствие делало каждый день особенным и ярким.

А в тот вечер они с Сергеем купили в магазине по брикету прессованного какао с сахаром — их любимое лакомство, по вкусу напоминающее шоколад, — и, откусывая по кусочку, брели домой. Местами ноги по щиколотку утопали в песке, как в пустыне.

— А знаешь, скоро деньги отменят, — сказал Митя. — В магазинах все будет бесплатно.

— Не может быть. Тогда все — мороженое, конфеты, какао — в два счета из магазина разметут, — возразил Сергей.

— Да, если хочешь знать, всего будет завалиться. А деньгами будет нечего делать...

— Ну, если нечего, зачем они тебе? Выброси.

— Запросто, — Митя выгреб из кармана всю мелочь. Насчитал семнадцать копеек (почти на два брикета какао хватило бы).

— Лучше мне отдай.

Митя вспомнил, как на днях подрался с другом. Их попросту стравили во дворе старшие ребята. «А ты слабее его... Он тебя одной левой... Хм... как бы не так...» Сергей был старше на год и покрепче. Он ударил первым. Сначала старались попасть кулаками в грудь. Потом Митя неожиданно ощутил сильный удар в лицо. Он из последних сил бросился в атаку и пропустил еще удар в зубы. Боль рассеченной губы Митя вообще не почувствовал. Их разняли, он еле сдерживал слезы неотомщенного поражения. Зато дал волю слезам дома. И еще махал кулаками перед зеркалом, представляя, как наносит сокрушительные удары приятелю...

— Тебе? Фигу с маслом.

И Митя начал как можно дальше разбрасывать монетки. Оба с интересом наблюдали, как они летят и падают, зарываясь в песок.

До коммунизма оставалось всего ничего...

Чуть свет прошли по улице пастухи, безжалостно лупя кнутами заспанную тишину. Зорька, рыжевато-белая корова с отпиленными в молодости за буйный норов рогами, недоуменно и беспокойно промычала у загородки вслед удаляющемуся стаду, предчувствуя, что дни ее сочтены. Хозяйка только что подоила ее, звеня тонкими молочными струями о жесть ведра, и скрылась в избе. В освещенном керосиновой лампой окне мелькали тени. В доме заканчивались сборы. Разговаривали тихо, дабы не разбудить двоих младших на печи: Колю, родившегося за два года до войны, и Петю, о появлении на свет которого в конце августа сорок первого отец узнал уже на фронте.

Мать поставила на стол чугунок с пшенной кашей, вынула из ящика деревянные ложки. Когда сели завтракать, сказала:

— Тань, дорога дюже дальняя, может, останемся?

Пережитки провели скорбные складки по уголкам ее рта, но не погасили жалеющие искорки в карих глазах.

— Не, мам, — упрямо тряхнув косичками, отвечала дочь. — Мне уже четырнадцать, а я еще нигде не была.

— Мне уже двадцать, а видела только станцию в Терновке да церковь в Русаново, — усмехнулась Настя.

— Зато Вера ездила за солью в Воронеж на поезде в прошлом году.

— Скажешь, Тань, тоже — на поезде. На крыше вагона вместе с другими безбилетниками, — возразила Вера. — Если бы не работа, я бы с вами пешком пошла. Зачем мы только в колхоз записались? Летось с Настей надрывались мешками на току, а на трудодни ничего не получили.

— Без защиты плохо, все обижают, — вздохнула мать. — Мож, и зря записались. Зато землицы еще под огород нарезали. Сорок соток — не пятнадцать. А вы — туда-сюда — все равно от мамки разъедетесь. Вера вон собирается через месяц в техникум поступать в Воронеже.

— Я от тебя ни за что не уеду, — сказала Таня, целуя мать в щеку...

— Танюш, возьми с собой новое платье, — посоветовала Настя. — Чтоб не хуже других в городе выглядела.

— Зачем? Это неплохое: черное, немаркое.

Сестра достала из сундука серый сатиновый сверток, дала Тане. Сели «на дорожку», потом встали, крестясь, по старому обычаю.

Вышли в темные сенцы. С певучим скрипом отворилась дверь на занимавшуюся озябшую зарю. За гумнами видны были сады и дома другой улицы, затем село терялось в низине, где петляла речка Елань и вдали, у самого горизонта, хорошо просматривался на возвышении, словно игрушечный, «тот бок» с едва различимыми извилистыми улочками и стоящей на отшибе по соседству с тремя живописными деревьями ветряной мельницей. Крылатая мельница придавала что-то сказочное, нереальное обыденному пейзажу.

Мать подошла к корове, завязала оборку на шее, вывела из загона.

— Ну, Зорька, пойдем!

— С богом. Счастливого пути, — пожелала Настя. — Она подернула плечами от холода и запахла на груди старый отцовский пиджак.

— Катюшке привет, — сказала Вера, поежившись. Затем она слад-

ко зевнула, представив, наверное, как сейчас снова залезет на полати до- сыпать. Таня не чуяла под ногами земли. Ей даже росший в канаве у про- улка кустик белены с невзрачными желтовато-пепельными цветами и большими мягкими листьями, на которых искрились крупные чистые капли, показался необыкновенно привлекательным. Она шла впереди по стежке, вела корову, а мать следом несла в руке ведро, в котором уместился узелок с едой. За ними на белом от росы полувытоптанном муро- жике оставался темнеющий след. Путники на краю села у грейдера, усыпанного сухими стеблями сена, остановились в растерянности: куда дальше? К счастью, проходил с косой на плече Семен Петрович — худо- щавый, жилистый мужик с изрезанным морщинами лицом. Он иногда заглядывал к ним погутарить. «Деньги есть — и друзья есть, а денег нет — и друзей нет», — запомнила Таня его изречение. А еще он как-то поведал историю возникновения их села. Мол, два с лишним столетия назад переселились на местные плодородные черноземы из города Коз- лова Танины предки по отцовской линии — пятеро братьев крестьян- однодворцев...

— Здорово были! Куды это ты, кума, собралась ни свет, ни заря? — хриплым голосом спросил он издали, не вынимая изо рта «козью ножку».

— Здравствуешь, Семен, — отвечала мать. — Вышли на Воронеж, а дороги не знаем.

— На Воронеж?! — Семен Петрович аж закашлялся, остановившись около них. — А ты не хващешь?

— Крест святой. Корову продавать ведем.

— За сто пятьдесят верст? Ну и ну! А тут що же — не нашла покупателя?

— Коля Антонов анадьсь предлагал девять сот, а болей никто не да- вая. Хоть бы триста рублей лишних выручить...

Семен, попыхивая своей цигаркой, рассказал, на какую деревню иди. Напоследок прибавил:

— Нужный путь Господь правит...

## 2

Немного погодя, за околицей, Таня напонила матери один случай — чего ей в голову пришло? Два года назад, в сорок седьмом, Петрович забрел к ним, покачиваясь от слабости, бледный, с потухшим взглядом. Го- лод в селе был темный. У них Зорька почесть не доилась. Все питание — лебеда, распаренный мурожик да иной раз мандрачки — олады из пере- зимовавшей в огороде картошки. Ее, полугнилуую, собирали по весне, высушивали и размалывали в муку... Семен Петрович и на этот раз не удержался от излюбленных рассуждений. Говорил медленно и тихо, не поднимая взгляда, точно бредил... «Счастье — оно всегда с тобой, нику- да не уйдет. А если наказан, неси свою скорбь, не швыряй ее, а если швыр- нешь, бог тебе больше даст». В словах этого неграмотного мужика угады- валась неписаная, не из чужого опыта добытая правда... Уже прощаясь, он с трудом поднялся с лавки и сказал, что душа третий день не прини- мает опостылевшей травы и мучениям его скоро придет конец.

Чем они могли ему помочь — сами были голодные. Однако мать, пре- дупредив, что вернется минтиком, отлучилась в погреб, почерпнула круж- кой со дна старой деревянной кадучки мутноватого сока, оставшегося от

квашеной капусты (ее еще зимой всю съели), и принесла гостю. Тот, не отрываясь, заметно двигая кадыком, выпил и немного ожил: кислота силы дает. Танька в этот момент списывала за столом задачку между газетных строк из тетради, также сделанной из газеты, и потихоньку наблюдала за происходящим. Она увидела, как слезы покатались по изможденному, морщинистому лицу Семена Петровича, застревая в короткой седой щетине. Он, как стоял — бросился ее матери в ноги:

— Век, Поля, этого не забуду и молиться за тебя стану...

Солнце поднимается все выше. Корова идет смиренно. По обе стороны от дороги — поля. Слева заколосившаяся пшеница, справа мак цветет. Из сплошного ярко-алого ковра с краю выглядывают сорняки. Жаворонки с перепелками проснулись, славят погожий день. Простор, воздух легкий. Не зря мать любит повторять, что в поле две воли...

Тане скучно идти молчком, просит:

— Мамка, расскажи, как ты до революции жила.

— Да я уж ничего не помню, — невесело усмехается мать. — Жила без матери, с мачехой. Мать умерла. Девчонкой, как ты, ходила к купцу свеклу полоть. Хорошего ничего не видела.

— А как с папкой поженились?

— Знамо как: годы подошли — выдали замуж в чужой двор.

Отцова семья была большая, работающая, считалась богатой. А все богатство — ворота хорошие, новые одни на всю улицу, да ометы высокие. Время было непокойное. Мужики с вилами ходили на Николаевку воевать. Казаки молодую учительницу в логу застрелили...

— Из-за чего?

— Кто его знает. Ни за що... Потом утихомирилось. Отделились после свадьбы. Лошаденку нам дали, «холодный надел» называлось. У отцова деда жили, потом у чернички Чермашенцевой. Катька родилась, отец надумал строиться. Поехал в Поспеловку, срубили лес, откатили. Срубил иструб, вчетвером привезли на лошадях. «Що ж маленький?» — спрашиваю. «Да, — говорит, — денег нет». Построились, пожили немного. В колхоз не вступили. Кто побогаче, всех на Соловки угнали. Ой, ник страшно. Сестру мою двоюродную Казачкову с семьей тоже угнали...

— За що?

— Да ни за що. У деда пчельник был — за пчельник... Там все и померли, никто не вернулся, царствие небесное, — мать вздохнула и перекрестилась...

— А мы богато жили?

— Кое-как. Спасибо, лошаденка выручала. Отец с Илюхой на заработки ездил на своих подводах. Уезжали на неделю. Водку возили в «монополь», жмых на маслозаводе в Жердевке. Бывало, зерно или жмых привезет, рада до смерти. Про остальное речи не было... Раз заезжает за ним Илюха, церковь на том боку нанимали ломать, обещали хорошо заплатить. Отец отказался: грех. Церковь была красивая, старинная. Две церкви раньше стояли, ни одной не осталось...

— Мам, а у нас лошадь была?

— А как же. Перед войной приходили за ней из колхоза трое. Отцу во всем селе равных по силе не было, на кулачных боях, бывало, никто его не мог одолеть. Он одного вдарил вгорячах, тот упал. Ушли. Я испугалась: «Не заберут тебя?» — «Не, не тронут». Никого не боялся. А потом война началась. Взяли его в армию. А через неделю лошадь отобрали в колхоз вместе с упряжкой... Тань, ты-то маленькая была, небось не пом-

нишь, как папку на войну провожали? Всем селом толпой до самого Русановского моста за мужиками шли...

— Помню... немного, — тихо сказала Таня и примолкла, заметив слезу на материнной щеке.

У развилки свернули на дорогу, которая шла левее. А если бы взяли вправо, то попали бы в Платоновку, к ее деду по отцу, Григорию Ивановичу. Он долгое время жил в Москве. Рано овдовев, поднял на ноги троих детей, старшую дочь выдал замуж, сына женил, а с младшей отправился в столицу на белый свет посмотреть. Работал там извозчиком. Потом женился на платоновской. Война началась, вернулся с женой в родное село. Поглядели — жить негде, и обосновались в Платоновке... Таня была у него в позапрошлом году, словно в сказке побывала.

В то утро мать испекла черный, как сковородка, хлеб из семян шашника. Пока вынимала из печи, он, как на грех, рассыпался на куски. Танька, проснувшись от голода раньше всех, попробовала пожевать один кусочек и выплюнула. Мать, безнадежно махнув рукой, сказала ей:

— От всего отказываешься — лебеда тебе не такая, мурожик невкусный — так и помереть недолго. Сходи что ль в Платоновку к деду Гришке, может, дадут поесть. Родни до мордвы, а пообедать негде.

— А как идти?

— Ступай по дороге до развилки, а там повернешь направо.

Шла она, шла мимо отсвечивающей золотом стерни на полях, миновала утопающую в садах Тамбовку, наконец, подходит к Платоновке. Посередине деревушки большое озеро, наполовину облетевшие плакучие ивы кунаются ветками в прозрачную голубоватую воду с плавающими на поверхности узкими ярко-желтыми листьями. Саманная, крытая соломой изба деда стояла на окраине деревни. Постучала, зашла внутрь. Деда Гришки дома не оказалось, работал в колхозе конюхом. Жена его с печи спрашивает недовольно:

— Что пришла?

Но слезла, угостила оладьями из желудей — вкусные необыкновенно — сами во рту таяли.

Потом появился дед, поцеловал, легонько уколол бородой, отправились все вместе в лес. Перешли вброд небольшую речку. В лесу Таня оказалась впервые. Солнечный свет сеялся сквозь поредевшие кроны деревьев, сухая листва шуршала под ногами, воздух по-осеннему свеж и чист. Набрали желудей Тане с собой. Желуди были дешевые — восемьдесят рублей пуд, можно было купить, да денег не было...

Солнце уже вовсю припекало, когда дошли в Копыл. Остановились под лозиной возле пруда. У берега плавали гусиные перья и пух. Пучеглазый бучан с перепугу гулко шлепнулся в воду. Подоили корову, закусили черным хлебцем с молоком. Корова пощипала траву, напилась из пруда. Отдохнув, снова двинулись в путь. У крайних домов разузнали, куда идти. Так и шли, спрашивая дорогу, от села к селу, от перекрестка до перекрестка.

Первый день не обошелся без происшествий. В одном месте женщины предупредила:

— Здесь карантин, ящур. Если увидят, корову отнимут.

Впереди уже делали ограждение из цепей. Скорее-скорее, окольными путями обошли опасный участок.

Заночевали у чужих людей в небольшой деревне.

На другой день в полдень увидели со спуска, как на ладони, Анну. На мосту через реку встречный мужчина в соломенной шляпе предложил за корову тысячу двести рублей. Мать заколебалась и сбавила шаг. Мужик не отступает, дает тысячу пятьсот. Мать уже собралась с ним идти корову взвешивать, но дочь в кошки-дыбошки: «Хочу Воронеж поглядеть!» И стоит на мосту, как вкопанная, слезы в глазах. Отвернулась. Пришлось матери отказаться. Танька сразу повеселела, словно ей медом в Воронеже намазано. Молчком, стараясь держаться в тени деревьев, миновали широко раскинувшийся поселок.

Повсюду до самого горизонта раскаленное марево струится над землей. Корова все чаще обмахивается хвостом от настырной стаи слепней и мух. Неожиданно, словно ее ужалил кто, Зорька рванула из Таниных рук конец оборки и, почуввав свободу, понеслась в сторону поросшей лесом лощины. Скроется, и поминай, как звали. Таня сразу, что есть духу, бросилась вдогонку. Каким-то чудом настигла, успела схватить веревку, но, потеряв равновесие, упала. Корова протащила ее по земле и остановилась. Подбежала мать, всплеснула руками:

— Батюшки, мое доброе!

Спереди Танино платье превратилось в лохмотья. На руках краснели капельками крови ссадины. Мать в сердцах огрела корову хворостиной:

— Родимец тебя побери, шутоломная!

Пришлось доставать оказавшееся кстати новое платье...

## 4

На третий день справа от дороги показался скошенный луг. Мужики и бабы вдальеке копнили сено. Зорька ни с того ни с сего потянула на обочину, к островку сочной, нетронутой зелени. В осоке блеснуло зеркальце озера.

— Как только она учуяла? — удивилась Таня.

Корова поднесла ноздри к поверхности водоема, шумно дохнула на нее и стала пить. Как раз в это время немолодая загорелая женщина в выцветшем платье и белом платке шла мимо от копен в деревню и что-то проворчала вполголоса. Зорька проводила ее жалобным мычанием.

Только собрались дальше в путь — не тут-то было. Корова ни с места. И уговаривают ее вдвоем, и хворостиной бьют, не помогает, хоть плачь.

— Может, пообедаем пока? — предложила Таня.

— Зря я тебя послушала в Анне. Уже бы деньги домой несли, — сердчала мать. Необычное безропотное молчание дочери могло означать, не иначе: «Эх, только бы она снова не надумала продать корову раньше времени!»

— Ладно, делать нечего, давай пообедаем.

Мать еле-еле надоила в ведро молока — не больше кружки. Отломила от черной ковриги по ломтю.

— Сахарку бы сейчас чудочек, — мечтательно произнесла Танька.

— Если до города доберемся, купим...

Прошлой осенью соседка тетя Маша получила в колхозе за прополку свеклы сахар. Ах, как Таня, узнав об этом, тоже захотела сладкого!казалось, что для счастья ничего больше не надо, только хлеб и сахар... Сколь-

ко себя помнила, никогда не наедалась досыта. Голод гнал по ночам из теплой постели на колхозные поля. Мать разбудит, Таня вскочит минтиком, чисто нигде не была, и с братьями, сестрами да с несколькими ребятишками с их планта, которые всегда у них собирались, — гурьбой в ночную стынь и темень то за колосками, то за свеклой, то за арбузами, что поверх Алпатского пруда сеяли. В поле ночью страшно, волки по лощинам воют, объездной, того гляди, налетит на лошади, босые ноги в кровь исколоты по стерне... А все-таки какое-то весельство было...

— Ну, Зорька, отдохнули, пошли дальше, — ласково сказала мать, когда закончили трапезу.

Корова ни шагу. Танька погладила ее по мягкой, белой короткой шерстке на морде.

— Зорька, тпрусинь, тпрусинь.

Потянула за оборку — ни с места.

— Не дай бог, заболела, — встревожилась мать.

«Вот и посмотрели город!» — с отчаянием подумала Таня. Вспомнила, что в первый день проходили заразную местность. Внутри похолодело: «Ящур».

Глядь, возвращается из деревни давешняя женщина, останавливается возле них и спрашивает строго, как начальница:

— Куда это вы корову ведете?

Черные глаза так и пронизывают, недовольная складка на лбу.

— В Воронеж, продавать, — отвечала мать. И добавила. — Нужда заставила.

— Что за нужда?

— Корова уже старая, молока добре мало дает. А детям в школу обусть-одеть нечего. Танюшка вот по распутице в студеную пору босиком ходит.

— Правду мать говорит? — спросила женщина. Недовольная складка на ее лбу немного разгладилась.

— Правду.

Таня и в самом деле осенью до заморозков и ранней весной в самую грязь ходила в школу чуть ли не за километр в пальто, варежках и босиком. Прохожие зябко вздрагивали, провожая ее взглядом, и качали головой. Но это еще что. Ее брата Кольку мать одну зиму возила на уроки с уроков на деревянных салазках, укрыв дерюжкой, у него ни пальто, ни валенок не было. А потом и салазки развалились. Катались с ледяных горок на гранушках — кружках из замороженного в тазу коровьего помета с водой. Новые салазки-то некому было сделать... Таня многое еще могла бы рассказать, кабы ее спросили. Но женщина опять обратилась к матери:

— Много у тебя детей?

— Шестеро. Старшая в Воронеже работает, а остальные со мной... Мужа на войне убили.

Взгляд у женщины смягчился.

— Хлебнули вы горюшка.

— И не расскажешь, и не опишешь...

— Мам, в бумаге написано, что папка без вести пропал, — сказала Таня, воспользовавшись молчанием взрослых.

— Все одно, — мать тяжело вздохнула. Она часто вздыхала так дома перед образами, когда, уложив детей спать, подолгу, с земными поклонами, молилась на сон грядущий. — Илюха, товарищ его, вместе с ним воевал под Ленинградом. Сказывал, бой кончился, видал моего мужика

живого-здорового. А вечером кинулись — нет нигде. Там, в лесу, вроде мин было много.

— В каком же году твой муж пропал?

— В сорок третьем... перед этим как раз старшая дочь Катюшка закончила десять классов и собралась в техникум поступать в Борисоглебске. Дома куснуть было нечего. Я ее пешком провожала на поезд почесть тридцать километров. Хорошо, хоть знакомые дорогой встретились, покормили.

— Поступила дочь-то?

— Поступила. Спасибо, тетка Наташа ее там приветила. Написали письмо отцу: Катька учится. Он ответил, что будет ей помогать. Не успел... Чем уж он собирался помогать? Сам небось голодовал...

Женщина подошла к Зорьке, что-то пошептала над ее ухом, и та, переступив, потащила за собой конец оборки. Танька скорее схватила его.

— Ну, мне пора, — как ни в чем не бывало, сказала женщина. — Счастливо вам добраться. Прощайте...

Она стала быстро удаляться от них в сторону копен. Мать и дочь изумленно и растерянно посмотрели ей вслед.

## 5

Остаток пути одолевали легко, словно кто-то сулил им скорые перемены к лучшему. Когда до города было уже рукой подать, мать вдруг остановилась, полезла за пазуху, где лежали завернутые в тряпицу документы и деньги, да так и обмерла: справку на корову дома забыла. Не зря ночью сон плохой снился. Что делать? Хоть назад поворачивай.

Хвать-мать, нагоняют их три женщины, тоже корову ведут продавать. Узнали в чем дело, посоветовали идти с ними. Солнце уже садилось, когда добрались до города. Мать, как ни побаивалась, оставила Таню и корову с незнакомыми женщинами ночевать на «Ваях», а сама отправилась разыскивать старшую дочь Катерину, которая несколько лет снимала комнату на улице Софьи Перовской. Оказывается, Катя их уже ждала. Настя в тот же день, как проводила их, обнаружила на столе за чулунком забытую бумагу с печатью, сбежала «на село» и отправила по почте вместе с письмом. «Счастье твое всегда с тобой», — сказал бы по этому случаю Семен Петрович...

На следующее утро Зорьку, молоком которой, хоть и скудным, спасалась семья в голодные военные и послевоенные годы, зарезали на базаре. Голову с отпиленными рогами купили сразу. Рубчик обманул их, как водится, но все равно выручили две с половиной тысячи.

Тане все было в диковинку в Воронеже: и чистые улицы с мостовыми, электрическими фонарями и многоэтажными домами, и трамваи, и люди, говорившие «что», а не «що», и красиво одетые. Глаза загорелись, решила — здесь ее будущее, любой ценой вырвется из родного села. Что она хорошего дома видела?..

Перед отъездом попили у Катерины чаю с бубликами, набрали в дорогу гостинцев, крупы. Возвращались на поезде.

Дома другую корову купили, да и деньги на одежду-обувку остались. А главное, считала тогда Таня, Воронеж посмотрела...

«Сто лет бы его не видать», — с усмешкой думала она иногда потом, в городе, когда стало вдосталь и сахара, и хлеба, и подрастали свои, не знавшие нужды, избалованные дети...

## РОДИНА ПРЕДКОВ

В августе двухтысячного на заводе, где я работал инженером, случилась очередной простой, называемый отпуском без содержания. Почему-то именно в это время на рубеже веков неодолимо потянуло на родину предков. Самый близкий путь — через Эртиль, до которого из Воронежа сто пятьдесят километров. В этот районный городишко приехал до полудня чуть ли не первым рейсом, но в нужном направлении автобусов не было, а ждать до вечера не хотелось, и я побрел пешком, надеясь поймать попутную машину.

Дошел до Первоэртиля, пока на повороте меня не подобрал «козел». В салоне сидели трое. Рядом с водителем женщина с независимыми манерами то ли учительницы, то ли какой-либо колхозной начальницы, а сзади — статный мужчина интеллигентной внешности. Он вышел из машины, освободил для меня соседнее сиденье от купленных в Эртиле хозяйственных мелочей, сложенных в красный пластмассовый таз, и помог затащить в салон увесистую дорожную сумку.

Он не стал задавать вопросов и погрузился в чтение потрепанной газеты «Спид-Инфо» с цветными фотографиями полуголых женщин, обнаруженную на сиденье. Километров за семь до цели мотор вдруг заглох. Водитель вышел из машины и открыл капот.

— Бензин кончился, — сообщил он и встал на обочине, всматриваясь вдаль в ожидании проезжего автомобиля.

Женщина повернулась к своему спутнику.

— Что это ты читаешь, кум?

— Газету нашел. На, посмотри.

Она взяла, полистала и стала что-то читать. Через некоторое время вернула.

— Ну как, понравилось?

— Ерунда всякая.

— Да нет, не скажи. Толково написано.

— Глупости. Я здесь со многими утверждениями не согласна. Помоему, это специально печатают, чтобы людям голову задурить... — И нетерпеливо спросила у водителя: — Ну, что, Николай, долго еще будем стоять?

— Да нет, не думаю.

— Что же ты с собой бензин не берешь?

Николай только неопределенно хмыкнул в ответ.

— Если знал, что бензина мало, зачем по Эртилю все магазины объезжали? Могли бы пешком пройтись...

Ее раздражала задержка.

— Ну, что ты стоишь, Николай, пройди вперед до перекрестка, там наши машины проезжают.

— Тут целых полкилометра будет, — возразил Николай.

Наконец, он остановил «Волгу».

— Вань, дай бензину литров десять.

— Не могу. У меня невозможно слить, — и уехал.

— Надо же, как назло, ни одной машины! — выругался водитель.

— Время обеда, — сказала женщина. — Сходи до перекрестка. Долго ты собираешься здесь стоять?

— До вечера, — добродушно огрызнулся Николай.

Потом он остановил пыливший по дороге «КАМАЗ» и предложил мне

доехать на нем до поворота на Платоновку. Я уехал, так и не узнав, сколько они еще простояли.

От поворота с километр прошел, сняв сандалии, босиком по траве вдоль асфальта с сумкой почти до самой Тамбовки. Навстречу попался новый «мерседес» с нездешними номерами. Потом меня нагнал другой «КАМАЗ». Остановил, попросил подбросить до Платоновки. В кабине был еще пассажир — пожилой худощавый загорелый мужчина в черном пиджаке. Пролетели по деревенской улице.

Мужчина поинтересовался:

— К кому же ты в Платоновку едешь?

— Да по сути дела ни к кому, — отвечаю. — Никого у меня там нет из родни. Еду на могилу своего прадеда.

— Кто же такой?

— Мерзликин Григорий Иванович... Не слышали?

— Как же, знал такого. Конюхом работал в колхозе.

— Точно!

У поворота на Семигоровку «КАМАЗ» остановился, и пассажир вышел. До Платоновки оставалось с полкилометра. Водитель подбросил меня до деревенской площади. Предложенную десятку не взял.

— Я же по пути, не специально вез.

— Спасибо. Где здесь кладбище?

— Вон по крайней улице иди.

Машина сразу развернулась и умчалась. Значит, не совсем по пути, крюку дал из-за меня.

Пошел по улице под любопытными взглядами обитателей нескольких палисадников.

Кладбище на окраине села было необычайно маленьким, огороженным деревянным штакетником, посреди ослепительной, залитой солнцем золотой стерни.

Парень и пожилая женщина красили оградку. Спросил у женщины, не знают ли они такой-то могилы. Оказалось, что нет. Она приехала в село в 1964 году, а прадед помер в году шестьдесят первом. Посоветовала спросить в крайнем доме...

В доме никто не откликнулся, только яростно лаяла из-под ворот собачонка. Пошел дальше по улице. Увидел мужика и подростка, возившихся с разобранным мотоциклом. Мужик посоветовал пройти по плотине на ту сторону пруда к Чермашенцеву Толику — Анатолию Яковлевичу. Он-то должен знать, поскольку доводился Григорию Ивановичу чуть ли не дальним родственником. Пришел к указанному палисаднику. Проходивший мимо сосед вызвал со двора хозяйку, Нину Павловну.

— Ой, Анатолий-то спит. Разбудить его?

— Не надо. Может быть, вы знаете?..

Я поведал ей цель приезда. Она согласилась показать мне могилу прадеда, а заодно по пути и место, где стоял его дом. Пошли вдоль берега пруда к другой плотине.

— А мы сегодня картошку копали, утомились. Я мужу нагрела воды, искупала, он выпил и уснул. Себе воды поставила, нагреется — сама искупаюсь.

Вся улица состояла из пятнадцати домов.

— Вот здесь и стояла изба из самана, где Григорий Иванович с женой жил, — показала Нина Павловна на пустое место рядом с последним домом. Здесь еще лозина росла, но ее, видать, срубили.

Перешли по плотине к кладбищу. Скошенное жнивье так и сверкало, отливало золотом на солнце.

Могила Григория Ивановича оказалась во втором ряду справа от входа, возле самого штакетника, вся поросшая бурьяном. Вдвоем с Ниной Павловной принялись рвать руками колкую сухую траву, освобождая едва заметный холмик с валявшимся на нем обломком сгнившего давно креста. Тут же обнаружили печенье, конфеты и даже сморщенный высохший огурец.

— Скажу Толику, чтобы крест на могилу сварил.

По рассказам родни, Григорий Иванович рано овдовел. Поднял на ноги троих детей, старшую дочь Аксютку выдал замуж, сына Егорку женил, а с младшей Евдокией отправился в столицу, на белый свет посмотреть. Работал там извозчиком. Потом женился на платоновской. Война началась, вернулся с женой в Козловку. Поглядели — жить негде, и обосновались в Платоновке... Моя мать училась во время войны в школе, голодала, как и все, и когда уже не могла есть распаренную траву, однажды пешком ходила из Козловки в Платоновку к деду Гришке. Там ее поразил огромный живописный пруд (пруд, действительно, красив, я сделал несколько снимков с расположившимися на берегу гусями). У деда отведала показавшихся необыкновенно вкусными желудевых оладьев, да и с собой дали желудей. Может, это путешествие и спасло ее...

В другом ряду, метрах в десяти, была похоронена жена Григория Ивановича.

— Хоть о покойниках и не говорят плохо, но, по правде, она была настоящая Яга. А Григорий Иванович очень хороший человек, лошадей очень любил.

Потом мы отправились за моей сумкой, оставленной в одном из дворов. По дороге Нина Ивановна рассказала, что у них в деревенской лавке за хлеб приходится платить втридорога, а в соседнюю деревню не находишься. Когда стали прощаться на плотине, я вынул из сумки один из батонов, которые вез в Козловку в качестве гостинцев, и дал женщине. Она отказывалась, но недолго.

— Хотите я вас сфотографирую?

— Нет, зачем? Кому я нужна, — сказала она. — Родственников у меня нет, детей не осталось... Сын теперь уже был бы взрослый, помогал бы. В четырнадцать лет поехал с ребятами за соломой на подводах. Там в омете были ямы — как солону брали. Он в одну и провалился, и сверху на него снежный наст рухнул. Хватились его, уже когда вернулись в деревню.

Страшный этот рассказ поражал еще и своей «типичностью»...

В Козловку подобрис на самосвале здоровенный парень в полосатой «десантной» майке. На плече — татуировка «ВДВ Кандагар» на фоне восходящего солнца. Афганец.

Я не узнавал окрестностей села из-за разросшихся полос лесопосадок. Свернули на первую — Московскую — улицу. Остановились.

— Сколько с меня?

— Нисколько.

— Тогда держи десятку на пиво...

Тетя Наташа вышла на крыльцо полюбопытствовать, кто приехал.

Заходим в избу. Там в своем деревянном кресле сидит ее дочь Соня, сорока восьми лет, с младенчества страдающая церебральным параличом.

Остальные дети — три дочери и сын — живут в Питере и по очереди навещают.

Как рассказывала сама тетя Наташа, Соня родилась нормальным ребенком. Однажды, когда она кормила ее грудью, очень перепугалась, увидев в окно, как соседский мальчишка чуть не попал под трактор. Этот запредельный испуг каким-то образом передался дочери... Соня так и выросла с этим недугом, ничего не могла делать самостоятельно, ее всю крутило. Она целыми днями сидела в инвалидном кресле, и тетя Наташа с мужем, дядей Витей, всю жизнь тянули оба в ее немощи, переносили из кровати в кресло или обратно, жевали еду по очереди и кормили рот в рот, как птицы кормят птенцов. Какой тяжестью было это для родителей. Дядя Витя умер рано, не дожив до шестидесяти...

Виктора Павловича в селе уважали. Он был высокого роста, сильный, хорошо разбирался в технике. В колхозе работал комбайнером. Оборудовал дома маслобойку и пилораму. К нему со всех окрестных сел везли распустить бревна на доски или бить масло из семечек. И хотя за частные предприятия в те времена наказывали, дядю Витю колхозное начальство не трогало. Правда, помнится, маслобойным производством предприимчивому сельчанину приходилось заниматься по ночам. В одном сарае во дворе стояла веялка, где от мотора крутилось большое колесо, и семечки в самодельном хитром механизме очищались от шелухи. В другом сарае мякушки гладкими железными вальцами размалывались в муку, в третьем — эту муку нагревали и закладывали под ручной винтовой пресс, где из жестяного желобка от давления круглым деревянным чурбаном стекало в ведро золотистое пахучее масло. Затем пресс раскручивали и доставали круглый диск жмыха. Жмыхом кормили скотину и домашнюю птицу, да и мы детьми были не прочь им полакомиться. Шелухой топили русские печи. Безотходное производство — все шло в дело...

Пилорама располагалась за двором. Виктор Павлович обычно распусткал бревна на доски сам, надев мотоциклетные очки от летящих из-под циркулярки опилок. Было в его фигуре что-то богатырское, монументальное. Ступал широко, по-хозяйски, прихрамывая на левую ногу — последнее тяжелого ранения во втором году войны, когда ему, наводчику 45-миллиметровой пушки, было всего девятнадцать.

Ко всякому находил подход. Закончив работу, Виктор Павлович выключал бензиновый мотор самодельной пилорамы и распивал магарыч, обычно в большой мужицкой компании. После первой рюмки начинались разговоры о политике, о прошлом. Запомнилась не раз повторявшаяся история о каком-то легендарном военном, который становился к стенке вместе с безвинно осужденными во времена сталинских репрессий, спасая тем самым их от расстрела...

Радость встречи, мои гостинцы, тети Наташины слезы вперемешку с шуточками, которые тоже стали грустны. И Сонино лицо то высвечивалось радостью, и она с трудом выговаривала приветственные слова, то огорчалось при жалобах тети Наташи на здоровье и годы.

— Миша давно был?

— Весной приезжал с женой, сажали огород...

Иду через дорогу в дом напротив — к тете Нюре, которая была подругой моей покойной бабки Пелагеи Васильевны. Открывает дверь веранды и смотрит, не может узнать. Наверное, два десятка лет не виделись с тех пор, как Пелагея Васильевна переехала в Воронеж к детям. Я называю себя. Ахи, охи...

— Валерка, я твой лик забыла. Давно у нас не был.

Позвала мужа. Петр Никитович совсем стар и слаб, но улыбается голубыми глазами и вспоминает кое-что из моего детства, о чем и я-то уже позабыл. Как мы ребятишками однажды ездили с ним с ночевкой на подводе рыbachить в Крутой лог. Он там жил подолгу в дощатом сарайчике, сторожа свои ульи. Пруд очень большой, в девяти километрах от села, славился карпами, сазанами и карасями. Мы добрались до места на закате. На берегу возле камышовых зарослей стояла на одной ноге цапля. Завидев нас, перелетела в другое место. По тягучей, отсвечивающей закатной медью водной глади расходились круги, то и дело раздавались шлепки играющих рыбин. Мы забросили донки с брусочками жмыха, утыканными крючками, размотали удочки, насадили червяков. Просидели допоздна, не поймав даже пескарика. Только мальки, словно дразня нас, водили и дергали поплавки. Огорченные, отправились спать на нарах, застеленных соломой, в сторожке Петра Никитовича.

Пасечник разбудил нас до рассвета. Было темно, до дрожи холодно, хотелось спать. Но только сейчас мы поняли, что такое настоящая рыбалка. Поплавки то и дело уходили под воду, сердце замирало. Подсечка — и рыба ушла, еще поклевка, — и из темной воды падает на траву бронзовый карп или сазан. Следом другой... третий... У меня один-таки ушел, оборвав леску.

Только рассвело, клев прекратился. Просидели до девяти утра — все бестолку. Петр Никитович остался, а я с двоюродным братом Сашей и троюродным Мишей возвращался домой пешком с хорошим уловом по пыльной полевой дороге...

Предлагаю сфотографироваться на память. Они согласились, сели на ступеньки крыльца — тетя Нюра в темном платочке, Петр Никитович с непокрытой седой головой, — пристально вглядываясь то ли в объектив «Зенита», то ли в свое молодое прошлое...

По дороге «на село» сфотографировал бывший бабушкин двор и сад. Новые хозяева обили дом железом и перекрыли шифером. Где старая, милая соломенная крыша с норками воробьиных гнезд под стрехой!

Из этого дома в детстве выходя каждое утро под петушьи крики на залитый солнцем двор, ощущал, как захватывает дух от простора огородов и садов, вглядываясь в тонущий в голубой дымке «тот бок» — противоположную, стоящую вдаль на возвышении окраину села с ветряной мельницей, казавшейся каким-то фантастическим сооружением.

В центре тоже многое изменилось. Продуктовое изобилие коммерческих магазинов, оборудованных по-городскому. На крыше бывшего универмага с белыми колоннами на входе надстроили купола с крестами. Пожилой бородатый батюшка наверху собственноручно красит их.

Рассказал об этом тете Наташе.

— Батюшка у нас добрый. Я ему пожаловалась, что боюсь умеру, а Сонька одна останется. А он говорит: «Не волнуйся, я ее к себе заберу».

Пришли с тетей Наташей к ее куму за медом.

— Козловка наша как провалилась куда-то, — сказала она, когда я рассчитывался за литровую банку янтарно-темного меда.

Кум — старый механизатор — подхватил тему, поведав, как пропадает каждый день скот на ферме. Все знают виновников, но боятся. «Анадысь» местные бандиты остановили машину, на которой предприниматель из Терновки привозил сжиженный газ в баллонах, и отняли деньги. Он плакал прямо на улице. Теперь уже месяц село без газа. Сюда не пус-

кают ни торговцев, ни перекупщиков, запугали всех. Местные жители опасались, что в этом году не удастся ни продать неплохой урожай картофеля, ни купить арбузов. В соседних селах — Платоновке, Дубровке — пенсионерам дают бесплатно зерно и масло, а тут — только за деньги, хоть и небольшие...

Спрашиваю, известно ли что-нибудь о том, откуда село пошло.

— Говорят, село основали три века назад пятеро братьев — крестьян-однодворцев, переселенцев из города Козлова. А фамилия у них была Мерзликины.

Мерзликиных теперь пол-Козловки. В ближайшей округе были еще села Новотроицкое, прозванное Бреховкой, Тамбовка, Николаевка, Копыл. Тамбовка, понятное дело, скорее всего, основана переселенцами из Тамбова, а Николаевка, возможно — из Николаева. Тетя Наташа подтвердила эту версию, вспомнив, что там часто употребляют слово «мертво», звучащее с украинским акцентом как «мэртво» с ударением на первом слоге.

Вечерний воздух в Козловке, настоянный на степных травах, такой особенный, чистый, вкусный, упругий, хоть ножом режь и в банки закатывай. Не зря моя бабка частенько говорила «иди позорься», то есть походи на заре...

Переночевав в доме Петра Никитовича, на следующее утро я сел в автобус и с каким-то смешанным чувством благодати, ностальгии и грусти уехал в Воронеж.